

Итак, заканчивается самойловский год. Не только в прямолинейном смысле: 85 лет со дня рождения, 15 — смерти. Даже не в том, что вслед двухтомнику «Поденных записей» вышло полное собрание поэм, хотя оно-то и наводит на эти мои размышления...



Станислав АССАДИН,
обозреватель «Новой»

В поэзии Самойлова сосуществуют, подчас противоборствующие, две стихии. Отчетливое пушкинианство («...Из поздней пушкинской плеяды... Мы, послушники ясновидца...») — и то, что я еще давно, при жизни Самойлова, назвал лирической эксцентрикой. Впрочем, имя Пушкина и здесь уместно. Андрей Немзер (его статья-комментарий к поэмному тому превосходна и тем, что, не в пример типовому литературоведению, исполнена волнения и страсти) говорит даже: «Под первом Самойлова «Граф Нулин» встретился с «Медным всадником» — хотя, по правде сказать, встречаются не всегда.

Признаюсь, «Снегопад» — поэма, пристрастно любимая самим автором, — по-моему, слишком явно ависим от узнаваемой интонации автора «Руслана» и «Онегина», и, на-против, именно лиризма недостает мне в эксцентрике некоторых иных вещей. Да бог с нею, с недостачей! Хуже, сдается, что в поэме, например, «Канделябры» лиризм сопререживания, словно бы спохватившись, неосновательно возникает в финальных строчках: «Жалко, жалко, чада Божьи, / Вас, бредущих по земле... / Надо плакать и молиться!» — но о ком, скажите мне, плакать? Кого жалеть, если в поэме — те самые хулиганы, в кого, по словам самого Самойлова, переродились былье славянофилы? Их срам и содом, который как раз и дал повод сарказму, когда Кожинов — Палиевский — Куняев устроили в ЦДЛ антисемитский шабаш, благородно названный дискуссией «Классика и мы». Оттого и в «Канделябрах» — не более чем шуты гороховые: «Начал часто черт являться / Валентину Горобцу, / Соблазнял он Валентина, / Перед ним жевал мацу». И т. п.

Стиль (и характер!) Самойлова об разует как раз лирическую эксцентрику (эксцентрика, но лирическая), термин, которым не горжусь, полагая его рабочим и понимая как испытание лирики — иронией, постоянного — переменного, пафоса — скепсисом.

Да, у Самойлова в его характернейших, самых «самойловских» веяниях одно без другого и не существует, коли он сам сказал, что «искусство — смесь / Небес и балагана! / Высокая потреба / И скоморохий гам!».

Сказал устами легендарного скульптора Вита Ствоша, создателя гениального алтаря краковского костела Девы Марии, в поэме «Последние каникулы», загадочной, сложноструктурной и, к слову, моей любимейшей, самой «моей», не единожды вызывавшей счастливый трепет при домашнем авторском чтении и оставившей горькое сожаление: отчего Самойлов так ее и не закончил? Не оттого ли, что поэма была самой-самой и для него тоже — недаром Ствош, он же Фейт Штос, немецкий еврей, ушедший по окончании алтаря в Нюренберг и стинувший по дороге, здесь очевиднейший двойник автора? (Нелишне заметить, по семейной легенде — потомка французского или, не знаю, голландского еврея Фердинанда, будто бы пришедшего маркиантом с войском Наполеона и застравшего в России. См. стихотворение «Маркиант».)

В отон, Ствош, и выбран спутником на символическом пути в символический Нюренберг, понимай: в поиске внутренней свободы — в частности, сколь это ни парадоксально, от самого искусства, которое, конечно, дает художнику свободу как выход из земной тесноты, но ведь и закабалает! «И отрекись навеки! / И больше не твори!.. / Я волен. Наконец-то / Я больше не артист».

В общем, «фантастическая хроника артистического бегства из реальности» (снова Немзер) — да, верно; но бегства и из самого по себе «артизма». А мир «артиста» — ху-

...Быть может, в Нюренберге / Мы встретимся потом».

Нюренберг — это загробное существование. Или — несуществование? Вопрос, на который вот именно нет ответа, по крайней мере уверенно доказательного, отчего и старый Дон Жуан в одноименной поэме, являя циническое бесстрашие и ни о чем не намереваясь жалеть, не удерживаетя, чтобы не спросить своего полуловечего, полукомического визитера, «старый череп Командора»: «...Что там — / За углом, за поворотом?...». И слышит: «Тьма без времени и воли...». Страшно!

Немзер имеет резон заключить: «Нюренберг — эквивалент Элизия», «блаженной страны». Но в XX веке уже слабо верилось в бессмертие; во всяком случае, язычески буквальное, и хотя бы отчасти поэтому «Каникулы» все хотят и не могут завершить

Кстати, в «недостоверной повести» «Струфян» ответы даны таки. И — на любой вкус!

Начиная с подчеркнутой — и тем контрастно готовящей иронический сюжетный зигзаг — исторической респектабельности: «настоящий» Таганрог декабря 1825 года, «настоящие» предатель Шервуд и барон Дубич, Александр I с его документально зафиксированным безвозвелием перед заговором, о котором знает...

Словом, обезвоженный царь — на сцене; деятели-декабристы — за нею. Есть и еще один персонаж, третья сила — «задумчивый казак» Федор Кузьмин, «уездный Сен-Симон» с трактатом «об исправлении империи Российской»: «На нас, как ядовитый чад, / Европа насыщает ересью... / Дабы России не оставаться / Без колеса и хомути, / Необходимо наше царство / В глухие увести мес-

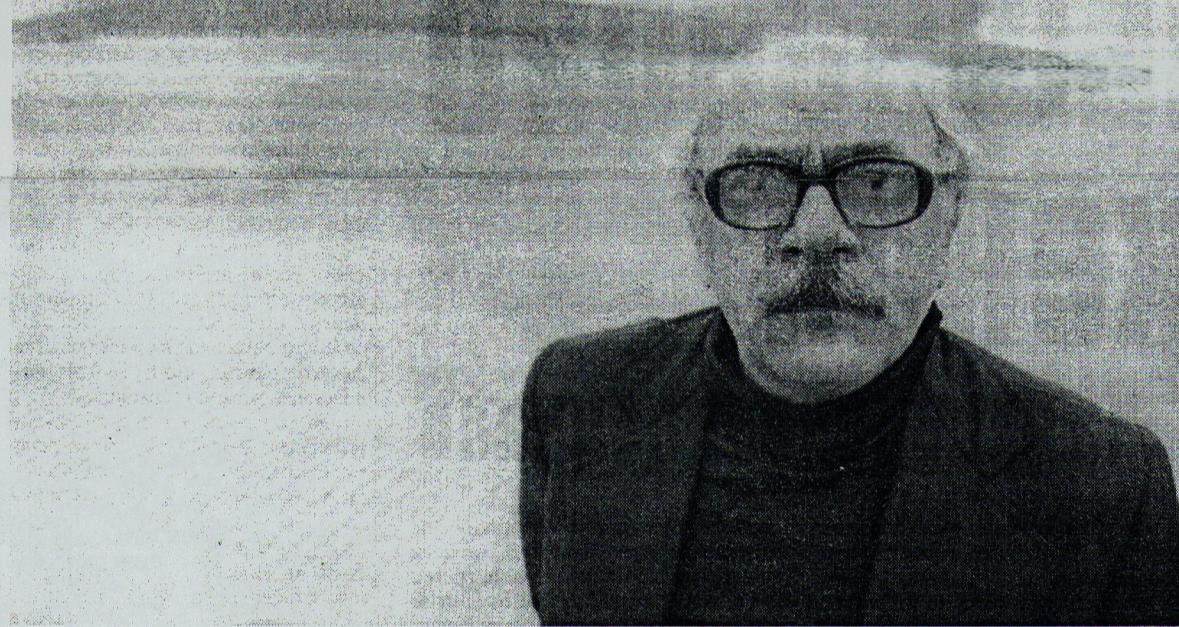
то? а что ж, история самопровозглашена? Надеяться на участие в ней — безнадежное дело?

Но пессимистом — да и фаталистом — Самойлова назвать трудно.

Наше привычное отношение к истории — примерка или оглажда. Уж никак не отношение к простору, на коем случается непредсказуемое и необъяснимое, не годящееся для утилитарного воспроизведения. Как пример простейший и неотвязный — вышло... Вернее, не вышло, но было задумано со сталинско-брежневско-путинским гимном, этим символом преемственности по-нашему, то есть не целостной, а совершающей выборочный скачок через головы Горбачева и Ельцина. Как и с Петром I в качестве образца для президента (что, смею предположить, недостаточно осмысленно: главная заслуга

Звезда Давида

Заканчивается
год Д. Самойлова,
но его век
в самом начале



Александр КНЯЗЕВ

дожника — уникalen, индивидуален, следовательно, одинок, отчего и свобода его — одинокая.

Потому в «Каникулах» будут тут же отсены, едва назовутся в качестве возможных соучастников победа, замышленного новейшим «усталым рабом», реальные, бытовые знакомцы: «Пересветов» или «Л. Итанский», «Который был готов / Пойти со мной и с Витом, / Но был заеден бытом / И значит — не готов». Либо:

«Кого б еще сминаст? / Петра или Бориса? / Володю, может быть? / Но с ним мы разошлись!» (То есть Петра Горелика, друга всей жизни, Слуцкого, Корнилова; что же до первых двух, то помню слышанный мною вариант, где Феликс Светов и Левитанский назывались впрямую).

Остается — Ствош, а поскольку он двойник, альтер эго, то, выходит, путешествие совершается в одиночку?

Выходит так. Куда же идут (идет)? Да в смерть, каковая тут образ уж таковой свободы, что дальше некуда. Не зря же единственный, кто сгодился бы в спутники, друг погибший, чем и освободившийся от земных пут: «Один, Леон Тоом, / Пошел бы ты со мною... / Ты, сокрушитель стен, / Ниспревратитель окон, / Прозревший острым оком / Убожество систем! /

ся, конечный пункт по-прежнему недоступен: «Как далеко, однако, / Преславный Нюренберг! / ...Как далеко, однако, / Преславный городок!.. / У знака: «К Нюренбергу. / Две тысячи км»...

Незакрытый простор. И — открытый трагизм? Подумаем.

«Трагизм», «трагичность» — слова, которыми пользуются неразборчиво, думая этим польстить писателю, коему дескать, доступна трагическая высота. Что до Самойлова, то он перед трагедией, в том числе несуществования, не то чтобы останавливается, но тормозит. Самой по себе, так сказать, безответственно. «И думал Цыганов: / «Зачем я жил? / Зачем я этой жизнью дорожил? / ...Зачем, когда так скоро песня спела? / Зачем?». / И он не находил ответа.

А поэма «Сон о Ганнибале», где изображена семейная драма пушкинского предка, чуть ли не родовой рок, не пощадивший и потомка, тоже закончится сомнением: «А может статься, вовсе я не прав / И случай этот был весьма банальный...» — простор для версий, как на пути в Нюренберг! «Мне все равно». Что не авторское безвозвелие-безразличие, а суть самойловского историзма...

таг...» — пародия на «Письмо вождям» Солженицына с его мыслью об освоении северо-востока как средство обустройства России.

Пародия, но не карикатура, даром что иные, кажется, и Александр Исаевич, обиделись; Самойлов сам был государственником (слово, узурпированное коммунистами и близкими им, бездарно уступленное супротивникам «демократами»).

Итак, Кузьмин хочет вручить императору свой трактат, дабы вразумить его и спасти Россию. Декабристы спасают и вразумляют по-своему. А в результате первый идет в каземат, второй — на виселицу и в Сибирь, царь же по озорной воле автора, для этой цели призвавшего НЛО, вдруг уносится в космос, ускользая, как случается с властью, от вразумления, выбора и ответственности. «А неопознанный предмет / Летел себе среди комет». Понимать ли: прилетел «себе», улетел «себе», и история тоже идет «себе».

Во всяком случае, «звезда» (см. эпиграф), чье явление по-разному понято меланхолическим императором и «задумчивым казаком», сыграла роль скептической проверки упомянутого первого и «конструктивного плана» второго — ту же, что вообще играет ирония у Самойлова.

«большевика на троне» — пресловутое окно в Европу, которое, едва открывшись при перестройке, ныне объявляется причиной вредоносных сквозняков).

От того, что для кого-то пример — Петр, для кого-то — Грозный, для кого-то — мифологизированный Столыпин, вред — истории, которая опошляется задним числом. И, что еще хуже, нам. Народонаселение.

На пугающем пространстве XXI века нам в любом случае предстоит... Ну, не выбрать дорогу, она худо-бедно выбрана, и мечтать о России как о Евразии (Азии) можно, конечно; можно и делать усилия, дабы свернуть с дороги в Европу, в мир. И власть еще будет бездействовать, как Александр I, это в нехудшем случае; будет, что хуже, сопротивляться неотвратимости; и утопии родится пародийное, чем у Кузьмина. Но...

Самойлов не пессимист, как и не оптимист, хоть и был обвинен в последнем Владимиром Корниловым, из-за чего они и «разошлись» («Но денные запись», 1973: «Я: «Тебя интересует деструкция жизни, а меня конструкция. Тебя — почему жить нельзя, а меня — почему можно». Он согласился»). У него, повторюсь, открытое пространство, на котором личная безвыходность (царя Александра, умирающего Цыганова, несчастной жены Ганнибала...) не перестанет мучить, не станет ниттоожно малым, но где, вопреки растянутой нашей «ментальности», во многом выдуманной, чтобы оправдывать историческое безвозвелие, сделан выбор самой историей. Идущей «себе».

Самойлов не был ни диссидентом, ни тем более человеком общепринятого «убожества системы». Он был (точнее, стал) внутренне свободным государственником.

Бывает, значит, и такое, на что возможно, надежда России.

В этом смысле Самойлов — поэт XXI века. Именно он, а не читимый им Бродский. Тот, выбравший одиночество (или оно его выбрало — как форму независимости от всего, начиная властью и кончая читателем), надменно-самодостаточный, завершил собою минувшее столетие, заставив вспомнить Блока: «Двадцатый век. Еще бездомней...». Самойлов с его легким дыханием, с его «конструкцией» при жесткой трезвости «Струфяна» или «Последних каникул», с его выходом на простор истории, несродным герметичности Бродского, — вот он, настаиваю, поэт...

Одно мешает закончить фразу, одно заставляет осечься: а сможет ли, захочет ли XXI век воспринять эту перспективу?

Саша Самойлов